

РАССКАЗЫ

ДВЕРИ

Викентий открывал дверь... и просыпался.

Он вставал, умывался и шел на кухню, где жена уже приготовила завтрак, затем одевался и отправлялся на работу. Викентий продавал двери: деревянные, бронированные, межкомнатные и офисные... Заказывали иногда часто и помногу, иногда не очень. Но заказывали в любое время года. Желающие звонили Викентию в офис или писали по электронной почте, а он оформлял заказы.

Двери нужны были всем.

И так было всегда, все пятнадцать лет.

Викентий открывал дверь... и просыпался. Он вставал, умывался, шел на кухню, где жена приготовила завтрак... В свои внезапно наступившие сорок пять лет он двигался по заданному кругу без остановок. Впрочем, иногда съезжая с него в отпуск на две-три недели, а потом снова возвращался.

И так было всегда.

Хотя нет, не всегда. Раньше Викентий работал на фабрике, производившей платяные шкафы. Но недолго. Как-то услышанная в далеком детстве фраза «скелет в шкафу» напугала его на всю жизнь. Где и от кого он слышал ее, к чему она относилась и какое имела значение, в детстве он не задумывался; но эта фраза засела в мозгу настолько основательно, что он даже перестал спать, со страхом глядя на шкаф, стоявший возле его кровати. И сейчас, уже будучи взрослым человеком, не мог отделаться от мысли, что их предприятие производит шкафы для скелетов. Даже дома, открывая шкаф в своей комнате, он ожидал, что оттуда вдруг, гремя костями, вывалится чей-то скелет. Он убеждал себя, что шкафы делают не только для них, но и для одежды — все напрасно. Что это была навязчивая, глупая мысль, Викентий понимал, но отделаться от нее не мог. Поэтому, решив отгородиться от своего детства и шкафа со скелетом дверью, перешел в отдел продажи дверей.

Теперь он думал о дверях.

За пятнадцать лет работы в этом отделе он продал тысячи дверей. Он мог с завязанными глазами, на ощупь, определить, из чего сделан образец; он чувствовал тепло и фактуру древесины межкомнатных, безразличную пустоту офисных, холодную надежность бронированных входных дверей.

Но он понимал — это чужие двери, в чужие миры.

Иногда на Викентия накатывало. Он вдруг останавливался посреди улицы и смотрел в небо. И чудилось ему, что он живет не свою жизнь, а какую-то чужую. Мимо

Сергей Игоревич Арно родился в Ленинграде. Автор пятнадцати книг прозы, среди которых «Фредерик Рюйш и его дети», «Роман о любви, а еще об идиотах и утопленниках», «Смирительная рубашка для гениев», «Живодерня» и другие. Заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга, директор Фонда братьев Стругацких, директор Издательства Союза писателей Санкт-Петербурга, общественный деятель, путешественник, дайвер.

шли люди, проезжали машины, а он стоял, устремив взор в небо, не двигаясь с места, не шевелясь. Ему казалось, что он нашел бы себя в чем-то другом, а этот мир был для него чужим миром, неизвестно куда ведущих чужих дверей...

Постояв так минуту-две, Викентий шел дальше, как будто и не было этой остановки и неба тоже не было — одно движение по кругу и двери, двери... А он сам и не помнил этой остановки, словно проваливался во времени.

Каждое утро перед тем, как проснуться, он открывал дверь в реальный мир... и, позавтракав, отправлялся в офис.

Это случилось солнечным весенним днем, когда Викентий шел на работу... На него внезапно накатило, хотя это всегда было внезапно. Он остановился, поднял лицо к небу... завизжали тормоза, водитель отчаянно крутанул руль влево и почти ушел от столкновения... но все же по касательной ударил Викентия... Тот взлетел над машиной и, провернувшись в воздухе, словно тряпичная кукла, упал на мостовую.

Когда врач «скорой» сделал ему укол, Викентий на мгновение пришел в себя, увидев закрывающиеся дверцы «скорой помощи». От них веяло болью, страхом, отчаянием.

В себя он пришел только через месяц и только наполовину. Сознание его лишилось какого-то важного логического соединения с полушариями мозга. Врачи считали, что ему никогда не вернуться к прежнему состоянию продавца дверей — лучше и не стараться, — поэтому перевели на психиатрическое отделение безнадежно хронических больных, чтобы следить за прогрессом его выздоровления, на которое, впрочем, никто не рассчитывал.

Здесь, в тиши отделения, Викентий нашел себе занятие. Целые дни он стоял у окна и смотрел в небо: затянутое облаками, хмурое или чистое и радостное — ему было все равно. И это уже не походило на провалы во времени. Врачи называли его состояние стагнацией и надежды на улучшение не предполагали.

Однажды в руки ему попали карандаш и лист бумаги, забытый кем-то из больных. Викентий поставил в углу листа точку, потом еще одну точку, запятую, минус... палку, палку, огуречик... и вышел человечек.

Это было неожиданно и странно, рядом на листе он нарисовал еще человечка, домик, самолетик... С тех пор Викентий стал рисовать все, что приходило в голову, врачи поощряли увлечения больных и давали бумагу и карандаши. А он рисовал самозабвенно, рисунки его усложнялись, приобретая отточенность, осмысленность и глубину. С каждым днем он рисовал все лучше. Зарисовывал жизнь больницы, ее пациентов, пейзажи за окнами, сценки в столовой... — все, что видел. Но обязательно на каждом рисунке присутствовала одна деталь, не из реальной жизни, из подсознания Викентия, это была дверь.

Главврач, заметив способности пациента, велел выдавать ему столько бумаги и карандашей, сколько требуется. Рисунки Викентия он собирал в отдельную папку.

Однажды, в задумчивости перебирая его рисунки, главврач заметил одну особенность, которой не замечал раньше. Дверь на всех изображениях выглядела по-разному. На одном — плотно закрытой, на другом — чуть приоткрытой, на следующем — приоткрытой еще больше... Главврач разложил рисунки по мере открывания двери и удивился. Дверь открывалась постепенно: на каждом последующем рисунке все шире.

С этого дня главврач каждый день стал наведываться на отделение, где лежал Викентий, в каждом новом рисунке наблюдая постепенное открывание двери. Ему невыносимо хотелось узнать, что за ней, но он терпеливо ожидал, ежедневно унося в свой кабинет новый рисунок. Но Викентий не спешил, приоткрывая ее медленно, продолжая игру со своим разумом или со своим безумием.

Через три недели главврач держал в руках последний рисунок.

— Все, — глядя на главврача, неожиданно осознанно сказал Викентий, как будто вышел из состояния сна разума.

— Что это? — спросил главврач. — Что это за дверью?

— Это шкаф, — пожав плечами, ответил Викентий.

— Просто обычный шкаф? — главврач, казалось, был разочарован.

— Да.

— А что в нем? — спросил он. — Что внутри?

— Одежда, — ответил Викентий. — В нем нет скелета.

Вскоре Викентия выписали. Врачи не ожидали столь скорого выздоровления, точнее говоря, выздоровления вообще не ожидали, списывая его на темноту человеческой души и неизученность мозга.

После выписки из больницы Викентий не пошел торговать дверями, а занялся живописью, со временем став известным художником-самоучкой. Его картины высоко ценили коллекционеры всего мира. На каждой своей картине он изображает открытую дверь и уголок шкафа из своего детства, в котором уже не было скелета.

ДВА РАССКАЗА О СЧАСТЬЕ

Стереотип счастья Бредухи Зопиной

Я всегда знал, что мир совсем не такой, каким представляют его люди. Кто-то задолго до меня придумал, что он именно такой. Это были мудрецы, решившие облегчить жизнь человечеству: сказать нам, что есть плохо, что есть хорошо, дать нам семь нот, семь цветов, придумать счет и таблицу умножения. Но человечество могло пойти и по другому пути. Кто сказал, что этот путь единственно верный?

Мы находимся в океане непознанного, а все окружающее нас условно.

Я выхожу на улицу, навстречу мне идет женщина «удивительной красоты» — так бы сказали многие, потому что у нее есть все условные принадлежности красоты. Хотя в другое время в другом месте она была бы уродищем, достойным осмеяния. Но здесь и в этом времени она прекрасна, и она возбуждает меня, и я ничего не могу с собой поделать, потому что какими-то неведомыми мудрецами в моем мозгу заложен код женской красоты, и она подходит к нему по всем своим параметрам. Хотя живи я в другое время, к примеру, пять веков назад и в другом месте, меня бы восхищала и возбуждала толстуха с дебиловатым лицом и покатыми плечами, с болезненной бледностью и чахоточным румянцем, я бы хотел ее,.. но не теперь: в голове моей сформулирован другой стереотип.

Ее звали Бредуха. Почему папа дал ей такое имя, не знал никто, потому что и папу ее тоже не знал никто. Он появился только два раза. Первый — когда встретил будущую маму Бредухи на улице и рассказал ей о своем одиночестве в большом мире людей; и мама — девушка ума незатейливого — восприняла его риторику близко к сердцу и привела одинокого мужичка к себе в общежитие отогреть, указав путь в комнату по водосточной трубе. Потому что во времена рождения Бредухи проникнуть в женское общежитие можно было только по трубе, через подвал или другим каким мудреным способом, оттого что за нравственностью жителей общежития следили очень строго.

Следили, да не доследили — девочка родилась через семь месяцев. В роддоме ее выхаживали, думали, помрет, но вопреки стараниям врачей — выжила. Бесплатная

медицина, полагавшаяся в основном на силу природы, вновь совершила чудо, и Бредуха осталась жить. Тут-то и появился во второй раз ее отец. Встретил мать с недоношенной дочкой из роддома, пожил неделю, дал имя новому человеку и исчез, на сей раз навсегда. Во всяком случае, сама Бредуха его никогда не встречала. Она росла медленно, с хворями, детским энурезом да грыжей, то почки заболят, то сердце шумы подает, а то вдруг прыщ (чирий) выскочит, да такой поганый, гнойный да болезненный, что Бредуха криком страшным кричала, пугая соседского кота до жути, так что он, получивший психотравму, мышей ловить перестал, и в доме развелось их много-премного, и бегали они везде и жрали все подряд.

Когда Бредуха подросла, мать отправила девочку в школу, где ее тут же освободили от физкультуры. Ее вообще выгнали бы из школы как самую тупую из учениц, потому что девочка с таким именем по определению не может учиться иначе; но закон не позволял учителям проявлять свои искренние чувства, поэтому она дотянула до восьмого класса. Ее даже ни разу не оставляли на второй год для закрепления материала, потому что закреплять было нечего. Все проходило мимо, никак не касаясь ее сознания, которое то ли спало, то ли не сформировалось, но так или иначе не только учителя, но и одноклассники называли Бредуху «слабоумной» не в медицинском, а в бытовом значении этого слова.

Наверное, так бы и пошла жизнь ее по заданному в детстве пути: ПТУ, затем работа на фабрике, родила бы ребенка от сантехника-алкоголика из ЖЭКа, работала бы гардеробщицей в бане, потом уборщицей... и закончила свою никчемную жизнь нигде, будучи никакой и не думая ни о чем, кроме пенсии, в размышлениях о том, как на такую пенсию вообще жить можно.

Но не так все в жизни просто да складно, и не такие мы в середине жизни, как на старте. Где те отличники да хорошисты, которые издевались над Бредухой, считая ее «слабоумной» в бытовом смысле этого слова. Кто спился, кто жизнь не закончил, но доживал ее уныло, не видя впереди никаких надежд, только от правительства и президента ожидая, что вот они в думах о народе додумаются все ж таки поднять зарплату, чтобы жить можно было, ну, если не припеваючи, то не в нужде. И подружки Бредухины как-то разбрелись по свету без счастья и даже удовольствия, хотя какие у Бредухи подружки, так, попутчицы.

А что сама-то Бредуха, как сложилась ее судьба?

А судьба ее сложилась завидно.

Однажды вечером Бредуха сидела на лавочке возле своего дома, дыша воздухом: она любила иногда без мыслей смотреть на деревья и прохожих. Тем более что был июнь, и прямо над ее головой цвела сирень, и она сидела в этих благоуханных клубах, перед сном наслаждаясь тишиной. Сзади нее раздавался осторожный хруст ветвей. Кто-то, прокравшись в куст, ломал ветки сирени. Бредуха не испугалась — она и не могла вообразить, что с ней может произойти что-то нехорошее, впрочем, и хорошее тоже. Не оборачиваясь, она смотрела по сторонам на сумеречную улицу, как перед ней вдруг оказался мужчина с большой охапкой сирени. Разглядеть его лицо в наступивших сумерках было сложно.

— Я увидел вас, — сказал он, остановившись перед Бредухой, — и понял, что должен подарить вам цветы, иначе не прощу себе всю жизнь.

— Не люблю цветы, — зачем-то сказала Бредуха, хотя сирень ей нравилась. — Но если уж нарвали, то давайте.

Мужчина наклонился и передал ей букет.

Его стало возможно разглядеть, и он сразу не понравился Бредухе: слишком красивый. Обхватив охапку сирени, она поднялась со скамейки и пошла домой.

Но в молодом человеке, вероятно, возник какой-то химический процесс, потому что он стал часто и не случайно оказываться возле парадной Бредухи. Он приносил ей цветы, мороженое, иногда — йогурт. И постепенно Бредуха привыкла. Она не понимала, что молодой человек ухаживает за ней, должно быть, и он не понимал. Они часами молча сидели на скамейке, и Бредухе это начинало нравиться: с молодым человеком не нужно было говорить или слушать то что говорит он, это состояние было для нее самым приятным из всех состояний — как будто она была одна. А молодому человеку тоже было хорошо, а почему — он и сам не знал. Он знал только то, что когда он сидит рядом с Бредухой, ему больше ничего не нужно.

Работал он инженером на фабрике, а фамилия у него была Зопин, Николай Михайлович Зопин. Вскоре случилось так, что Николай переехал жить к Бредухе, а при сочетании брака Бредуха взяла фамилию мужа и стала Бредуха Зопина.

И никогда они нигде не были и ничего не получали от жизни, кроме того, что имели.

Утром она ходила на работу на фабрику, а вечерами они молча сидели рядом... и им было хорошо.

Что такое счастье? Каждый из людей знает, что это. Но в голове каждого заложен определенный стереотип, в рамки которого входят многие общепринятые вещи: богатство, машина, путешествия, для кого-то власть, известность... и уж совсем не укладывается в этот стереотип жизнь Бредухи Зопиной. А мы гонимся за своим стереотипом, потому что кто-то до нас решил, что счастливыми мы будем, когда у нас наберется общепризнанный набор ценностей, а без них мы несчастны.

Но мир совсем не такой, каким представляем его мы.

Между буквами и циферками

— Хреново? — девушка пододвинулась ко мне вплотную.

— Что вы имеете в виду?

— Вы сами знаете «что», — она подтащила поближе грязный свой тюк, который был набит черт знает чем. — Думаете: утопиться или повеситься?

— Я бы застрелился, только пистолета нет, — сказал я, вздохнув.

И вдруг спросила:

— А вы кто по профессии?

— Писатель.

— Тогда понятно, — проговорила она и отвернулась.

— Что вам понятно? Что вам может быть понятно?! — с вызовом воскликнул я.

— Это все буквы, буквы, — сказала она, повернувшись ко мне, — а от букв могут вылечить только циферки... Больше ничего, только циферки, — и снова отвернулась.

Я посмотрел на нее внимательнее, только что смотрел вскользь, как на никого, а сейчас стало вдруг интересно. Похоже, я тоже думал когда-то об этом, ну, может быть, не совсем об этом, но о чем-то подобном.

Девушка была возраста совершенно непонятного, но вроде симпатичная. Только одета очень плохо: вязаная шапка на глаза, из-под которой вылезали жирные, свалывшиеся волосы, пальто вытертое, рваные перчатки на руках. Да вроде даже и не девушка, а, можно сказать, тетка.

На детской площадке, где я одиноко сидел на скамейке, было ветрено, холодно и одиноко до тех пор, пока не пришла она, скверно одетая, со своим грязным узлом, набитым какой-то дрянью, и не плюхнулась рядом.

— А что главное, по-вашему, буквы или циферки? — снова спросила она, почесав под шапкой немытую голову.

Ну, точно я думал когда-то об этом, но сейчас не нашелся, что ответить.

— Можете не отвечать, — сказала она. — Я и так знаю, что буковки. Вот что вы ответите, если я скажу «пятьсот четырнадцать»?

Вопрос застал меня врасплох, я задумался.

— ...Пятнадцать.

— Двести тридцать.

— Двадцать пять.

— Неплохо, — сказала она. — Пятьсот семнадцать.

— Восемнадцать.

— Тоже ничего, — и улыбнулась. Улыбка у нее была странная, непохожая на человеческую — то ли улыбка, то ли оскал. Это я подумал, что она улыбнулась, а на самом деле черт ее знает.

О людях всегда думаешь лучше, чем они есть на самом деле, даже если думаешь очень плохо.

Мальчик лет пяти в зеленой куртке подошел к песочнице и заглянул в нее с неприязнью.

— Дерьмо какое, опять песок не завезли.

Плюнул и пошел кататься на горку.

— Не пишется, гонорары маленькие. Буковки больше никому не приносят циферки, а если приносят, жить на них невозможно, — сказал я. — Так что лучше застрелиться, но на пистолет нужны циферки, а где их взять?

— Почему именно застрелиться, так коротко и банально, — она брезгливо сморщила лицо. — Почему не продлить мучения, чтобы жизнь сузилась до нескольких часов и стала по-настоящему невыносимой.

— Что вы имеете в виду?

— Ну, не знаю... например, сесть на кол. Несколько часов нестерпимых мучений вам обеспечены. Смерть нужно заслужить...

Она мечтательно возвела глаза к небу.

— А я не заслужил?! Да у меня, если хотите знать, семнадцать романов написано!

— Заслужить не перед другими, а перед самим собой. Смерть становится избавлением, когда человек долго живет, страдает от этого, когда невыносимо устал от жизни, или уж тогда на кол и хотя бы несколько часов мучений. Ощутить смерть как избавление и наслаждение. А пиф-паф — скучно и несправедливо по отношению к другим. Они-то живут, мучаются, и ничего. А вы стреляться!..

— Мне вообще стреляться расхотелось. Но на кол — точно не мое, — сказал я, представив.

— Да-а... — задумчиво протянула тетка. — Всю жизнь метаться между буковками и циферками и не находить покоя... Я вам не завидую.

— Я сам себе не завидую.

Помолчали.

— Таджик Ашот паспорт просрочил, его на родину депортировали, — сказала тетка, почесав под мышкой.

— А я при чем?

— Так тебя не депортируют: ты местный, — она вдруг почему-то перешла на «ты», — а у меня койка свободная, — она поднялась со скамейки. — Бери узел, а то он тяжеленный, все руки оттянул.

Я ношу за теткой ее тюк черт знает с чем, потому что на помойках, где мы с ней промышляем, черт знает чего только не выкидывают. Живем мы в подвале заброшен-

ной фабрики. Днем на помойках собираем цветные металлы, банки, пустые пластиковые бутылки, прочий утиль и сдаем в пункты приема.

В нашем подвале много разных вещей, я даже не знаю, что там есть, потому что люди выбрасывают все что угодно, а мы тащим это в свой подвал.

Я забыл, что такое «не пишется», когда нет вдохновения, что такое «не хватает денег», неудовлетворенность жизнью, депрессия и тоска... А когда мне вдруг становится грустно или жалко себя, я представляю торчащий из земли кол и себя со спущенными штанами, забирающегося по ступеням стремянки ...

Я обрел свое счастье с теткой здесь, на месте таджика Ашота, между буквами и циферками, где меня никто никогда не найдет.

МЕРТВЫЕ САМИ ЗНАЮТ, ОТЧЕГО МЕРТВЫ

Из цикла «Петербургская нечисть»

В Петербурге стояла пора самого темного и холодного времени, когда рано смеркается, а днем солнце появляется редко. Резкий ветер дул с Невы, было холодно и промозгло, грязный снег лежал под ногами кашей.

Титулярный советник Григорий Иванович Зенкин, шедши со службы из Департамента образования, остановился напротив Исаакиевского собора; глядя вверх, поднял руку ко лбу, намереваясь осенить себя крестным знаменем,.. но не успел. Под ноги ему откуда ни возьмись вдруг бросилась крохотная мерзкая старуха в капоре и с мешком за плечами. Григорий Иванович отступил, нога соскользнула с булыжника мостовой и попала в лужу.

Титулярный советник чертыхнулся, потряс ногой и огляделся, ища мерзкую старуху,.. но нигде ее не увидел. На другой стороне улицы, несмотря на мерзостную погоду, чинно прохаживался городской. Мимо, грохоча колесами по булыжной мостовой, проехала коляска, а недалеко пробежала мокрая собака, чем-то, впрочем, похожая на старуху.

Григорий Иванович сплюнул, по обыкновению, через левое плечо трижды, хотел перекреститься, но почему-то не стал делать этого, а заспешил к дому. Жил он на Галерной улице в меблированной комнате, из окна которой был виден краешек самого двора-колодца да кусочек неба, всегда, правда, пасмурного.

Перейдя Исаакиевскую площадь, он поворотил в сторону Невы. Тут повстречался ему слепой мужик, громко стучавший по поребрику палкой. А когда, дойдя до Галерной, свернул за угол, столкнулся с хромым стариком и чуть не уронил его на мостовую. Нехорошее что-то почудилось ему в этих встречах, и он на всякий случай снова сплюнул через левое плечо.

Служил Григорий Иванович самым ничтожным чиновником, получал жалованье небольшое и чина был незначительного, а в силу происхождения и не рассчитывавший на большее. Как шутили товарищи — «вечный титулярный советник». Хотя к своим без малого сорока годам ему, как всякому благообразному гражданину, надлежало жениться и обзавестись семейством, но он этого делать не спешил, а будучи человеком бережливым, предполагал поначалу скопить нужный капитал, а уж после думать о семье. От этого все дни он проводил в воздержании и только в праздник мог позволить себе излишества.

Всю дорогу до дома странное беспокойство терзало его душу. Кутаясь в старенькую свою шинель, Григорий Иванович озирался, словно кто шел за ним следом,.. а как будто даже и шел, но когда он оглядывался, ловкий преследователь шмыгал в бли-

жайшую подворотню или прятался за столб — так что разглядеть его не представлялось никакой возможности.

На подходе уже к самому дому вновь произошел странный случай. Из темной подворотни с лаем выскочила мокрая, лохматая собака и бросилась под ноги Григория Ивановича. Он отступил и, поскользнувшись на мокром булыжнике мостовой, чуть было не упал... но это оказалась не собака, как ему почудилось поначалу, а крохотная старуха в капоре — собака, должно быть, лаем прогоняла ее со двора.

— Прости, батюшка! — воскликнула старуха, подняв лицо на Григория Ивановича. — Не гневайся... да и не бойся ничего. Ты живой, а мертвые сами знают, отчего мертвы.

Проговорив это, старуха посеменила в сторону Исаакиевской площади. Как будто это и была та самая старуха, что бросилась к нему под ноги в первый раз.

«Что за ерунда!» — в сердцах подумал Григорий Иванович.

Эта встреча совсем испортила ему настроение.

Дворник Поликарп в белом фартуке и фуражке стоял у освещенной фонарем подворотни и, задрав голову, смотрел в темное небо. Что он мог видеть там? Ничего там и не было, просто хотел и смотрел. Когда Григорий Иванович проходил мимо Поликарпа, тот взглянул на него и, поклонившись, вдруг сказал:

— А на четвертом этаже в квартире прям, ваше благородие, жилец повесился.

— Что?! Какой жилец?! — вздрогнул Григорий Иванович. — Да ты снова пьян! Ты что, дурень, говоришь!?

Поликарп был нетороплив в речах и излагал с растяжкой, вспоминая и старательно проговаривая каждое слово, будто недавно выучился человеческому языку. Да и выглядел он не как обыкновенно — всегда румяный и довольный, вечно под хмельком, — а сейчас бледное лицо, на шее болтается какая-то тряпка...

— Сосед с вашего этажа, Афанасий Степанович Поприщев. Из участка городской уже приходил. Утром прям гроб привезут.

Григорий Иванович хорошо знал Афанасия Степановича, тихого, застенчивого учителя музыки лет пятидесяти.

— На Рождество, грех-то какой! Отчего же повесился? Водки, как ты, не пил.

Поликарп пожевал губами, словно во рту нащупывая языком нужные слова.

— Вы и сами знаете отчего.

— Что знаю? — Григорий Иванович пугливо оглянулся. — Что ты такое говоришь, дурья твоя башка?! Откуда же я могу знать?!.

Он бы плюнул и пошел себе прочь, чем разговаривать с глупым мужиком, но что-то останавливало его.

Поликарп поглядел на небо, словно ища там поддержки, неторопливо почесал затылок, сдвинув дворницкую фуражку на лоб.

— Тык прям сам Афанасий Степанович и сказал.

— Кому? Кому сказал?!.

— Тык... Мне и сказал. Подошел ко мне сегодня пополудни и говорит: «Я прям сейчас пойду повешусь, а ты, Поликарп, передай Григорию Ивановичу, что он знает почему...»

— Что за чушь, — Григорий Иванович зябко повел плечами. — Откуда же я...

— Не могу знать, ваше благородие, а только так сказал. А еще сказал, что мертвые сами знают, отчего мертвы.

И опять бросились в глаза титулярному советнику бледность лица Поликарпа и отстраненный какой-то взгляд.

Более ничего не сказав, Григорий Иванович прошел мимо дворника, направляясь к своей парадной. На душе у него было пакостно, как будто он и вправду знал, отче-

го повесился Афанасий Степанович, и, более того, даже чуть ли не сам подтолкнул его к этому действию.

Квартира располагалась на четвертом этаже.

В дверях он столкнулся с кухаркой. Она взвизгнула и отступила в прихожую, словно был это не Григорий Иванович, а оживший мертвец.

— Глупая баба, — в сердцах пробурчал Григорий Иванович и, повесивши в прихожей шинель, зашел к себе в комнату.

Он зажег свечу на столе. В комнате все было, как обычно, но что-то не так. Что именно, понять он никак не мог. На столе рядом со свечой стоял прибор для письма, лежала стопа бумаги. Григорий Иванович иногда брал работу на дом, когда не справлялся с ней в департаменте.

А еще была у Григория Ивановича престранная привычка: он любил крутить в руках посторонний и как бы вовсе не относящийся к нему предмет — маленькую костяную статуэтку в виде петушка. И хотя у птицы был отбит клюв, ценность для хозяйки статуэтка не теряла. Григорий Иванович, сколько помнил себя, всегда забавлялся с этой статуэткой, за что товарищи по службе в департаменте постоянно над ним подсмеивались. И сейчас, покрутив петушка, он поставил его на стол.

Экономная жизнь приучила титулярного советника ложиться спать рано, чтобы не тратить попусту свечу. И сегодня после ужина он хотел бы еще почитать книгу Николая Гоголя, которую выпросил на время у товарища своего в департаменте, и было, взяв уже книгу в руки, раскрыл, но почему-то, не прочтя ни строки, отложил в сторону. На сердце у него было тревожно, в комнате зябко, печи в квартире топили слабо.

Григорий Иванович переоделся в ночную сорочку и, перекрестившись на висевший в углу образ, задул свечу и улегся в постель.

Сообщение о смерти соседа не то что потрясло его, но вызвало в душе странное угнетение. Лежа сейчас в постели в полной темноте, он вспоминал учителя музыки и его слова, переданные дворником. Отчего же он так сказал? Откуда же я могу знать?.. Хотя Афанасий Степанович не однажды жаловался на своих учеников, потешавшихся над ним. Однажды проказники подсунули живую мышь в ящик классного стола, в другой раз незаметно подложили дохлую кошку в его портфель, с которым он ходил на службу, обнаруженную им уже дома. А недавно они принесли в класс надгробную плиту, на которой стояли его фамилия, имя и надпись «От благодарных учеников». Тут было от чего повеситься. Да, это, пожалуй, он и имел в виду. Именно это, а иначе что.

Придя к этой мысли, Григорий Иванович удовлетворенно повернулся на бок, намереваясь заснуть. Но дурные мысли продолжали тревожить его. Будучи человеком суеверным, он представлял себе, что где-то по квартире бродит неуспокоенная душа учителя музыки, и мается, и стонет...

Жутковато сделалось Григорию Ивановичу в ночной тишине. Он перевернулся на другой бок... как в дверь тихонько постучали. Григорий Иванович вздрогнул, насторожился. Поначалу он подумал, что стук ему причудился. Но через некоторое время постучали снова уже громче. Сердце упало. Черт знает, что ожидать в ночное время, особенно перед Рождеством, когда всякая нечисть вылезает из своих убежищ, пугая народ.

Он поднялся на локоть, во все глаза вглядываясь в темноту. Липкий ужас заполз под одеяло.

— Кто, кто там?.. — почему-то шепотом проговорил он.

Вместо ответа постучали снова.

«Наверное... кухарка. Вечно она стучится, когда человеку спать пора. Наверное, забыла чего-нибудь... или ерунду какую скажет...» — мысленно убеждал он себя, но не верил. Казалось ему, что все-таки не кухарка это никакая, а кое-кто пострашнее.

Подавляя поднимающийся в душе ужас, Григорий Иванович спустил голые ноги на пол, нащупав тапки, поднялся и, выставив вперед руки, в темноте подошел к двери.

— Кто еще там?! — сказал он нарочно громко и нарочно недовольным голосом, чтобы приободрить самого себя.

— Кухарка это — Пелагея, ваше благородие, — раздалось из-за двери.

От сердца отлегло.

— Ну, что тебе? Я уже спать собираюсь, — сердито сказал он через дверь.

— Завтра праздник, так я завтрак раньше подам, потом уж в церковь... — донесся из-за двери голос кухарки.

— Хорошо-хорошо...

Он повернулся к кровати и уже было сделал шаг, как в дверь снова постучали.

— Да что ж это такое! — раздраженно воскликнул Григорий Иванович. — Чего тебе еще!

В темноте он сделал два решительных шага, собираясь отчитать глупую бабу, шатающуюся по ночам и мешающую почивать господам. Нашупав щеколду, отодвинул ее, распахнул дверь... И тут же, вздрогнув, отступил в комнату. На пороге со свечой в руке стоял повесившийся учитель музыки, рука его, державшая свечу, дрожала, поблескивали стекла очков, по стенам прыгали кривые тени. Лицо Афанасия Степановича было мертвенно-бледным, губы шептали что-то.

Учитель музыки вдруг сделал шаг в комнату, Григорий Иванович охнул и, отступив, наткнулся на стол, преобольно ударившись об его угол. Боль несколько отрезвила его.

— Кто вы и откуда?! — воскликнул он, придав голосу решительность, не зная, что следует говорить в том случае, когда покойник ночью приходит к тебе в комнату.

— Вы ли это, Григорий Иванович? — таинственным шепотом проговорил Афанасий Степанович.

— А вы сами-то кто?! — визгливо почти прокричал титулярный советник. — И зачем вернулись с того света?!

Между тем в слабом свете свечи он пристально вглядывался в шею учителя музыки, стараясь увидеть на ней следы от веревки, чтобы уже в точности увериться, что к нему пришел повешенный. И не торчит ли у него зуб изо рта, какой появляется у висельника-вампира.

— Да отчего же с того света, милостивый государь, — тихо, вкрадчиво заговорил учитель музыки, маленькими шажочками приближаясь к Григорию Ивановичу, — ежели вы сами умерли. Я же вас не боюсь. Мы с вами приятельствовали, жили мирно. Отчего же вы мне вред должны причинить...

— Как умер?! Я жив! — вскрикнул Григорий Иванович.

«Господи! Да как же умер?! Неужто я умер?!» — пронеслась в голове шальная мысль, хотя он и знал, что жив. Но раз покойник так говорит, то он и сам уже начинал сомневаться.

— Да как же жив? — продолжал настаивать учитель музыки. — Дворник наш Поликарп уверил меня, что вы, милостивый государь, повесились. Я вот попрощаться зашел, а вы, я вижу, покой не обрели еще.

— Что за ерунда! — Григорий Иванович начинал о чем-то догадываться. — Это мне Поликарп, дурья его башка, сказал, что это вы повесились сегодня и будто я знаю почему.

Он, все еще храня в душе страх, протянул руку к Афанасию Степановичу, чтобы потрогать его, но тот как-то ловко отпрянул, не позволив сделать этого.

— Мне он, шельмец, то же самое сказал, — признался учитель музыки.

Товарищи поговорили еще минут пять, уже со смехом рассуждая о выходе дворника, решив завтра поутру навестить к нему и проучить вралю.

Спровадив гостя, Григорий Иванович лег спать в прекрасном расположении духа, несмотря на поднявшееся бурление и беспокойство в животе. И спал вполне прилично, а проснувшись, по обыкновению, рано, надел халат и выглянул в окно.

На дворе было еще темно. В Петербурге зимой рассветает часов только в десять, а то и в одиннадцатом и в том случае, если небо без облаков. А когда в Петербурге небо без облаков? Редко случается такое, никто даже не вспомнит, когда такое было.

Во дворе он увидел лошадь с телегой, два мужика сгружали с нее какой-то большой ящик. Григорий Иванович, уже было отошедши от окна, отчего-то вернулся. Приглядевшись, он увидел, что не ящик это вовсе, а гроб, большой черный гроб. Он показался ему особенно большим, просто огромным.

«Афанасий Степанович-то совсем тщедушный. Зачем ему такой? — вдруг пронеслось в голове титулярного советника. — Велик будет, а дворник ведь точно сказал, что утром гроб привезут. Вот тебе и на! — хотя в комнате было холодно, Григория Ивановича бросило в жар.— Что же это я ночью с покойником разговаривал? А ведь как живой. Вот скажи мне кто, что Афанасий Степанович мертвец, ни за что бы не поверил».

Ночное приключение сейчас, в утреннюю пору, было уже не так страшно. Расскажи он у себя в департаменте, пожалуй, на смех поднимут! Но как же он не смог отличить живого от мертвого, или они умеют такой морок на человека навести, что глаза видеть перестают.

Григорий Иванович в возбуждении, беспрестанно вертя в пальцах костяную статуэтку, вышагивал по комнате взад-вперед. Так он проходил около часа.

В дверь постучали, титулярный советник остановился, бросил взгляд во двор, за окном тьма сделалась уже не такой густой.

— Кто там? — спросил он, не двигаясь с места.

— Я, Афанасий Степанович, — донеслось из-за двери. — Мы с вами поутру намеревались пойти к дворнику.

Григорий Иванович открыл дверь и впустил учителя музыки.

— Да, пожалуй, пожалуй, — рассеянно проговорил он, а про себя подумал: «Странно все это, может, Поликарп объяснит».

Пройдя через двор, товарищи толкнули дверь, вошли в дворницкую и остановились на пороге.

Посреди дворницкой стоял гроб, двое мужиков возились возле него, должно быть, удобнее располагая покойника. Тут же стояли служанка со второго этажа, где жил статский советник, и кухарка Ефросинья.

Афанасий Степанович, а за ним и Григорий Иванович подошли ко гробу. В нем лежал дворник в переднике, челюсть его была подвязана платком, так что борода торчала вверх. Хоть бледен лицом, но даже в своем положении выглядел как живой, на шею была повязана тряпка.

Григорию Ивановичу сделалось вдруг дурно: он ожидал увидеть в гробу кого угодно, только не дворника.

— Грех-то какой, — сказала служанка статского советника и вытерла платочком слезу.

— Это он от водки повесился, она, окаянная, — добавила кухарка Ефросинья и высморкалась в край фартука.

— Когда же это случилось, утром сегодня? — спросил Григорий Иванович, поворотившись к кухарке, непрестанно крутя в руках костяную безделушку.

— Вчера утром нашли. Висит в дворницкой, вон, прямо на том крюке, — она завела глаза к потолку, где над их головами торчал здоровенный крюк, на котором еще болтался обрывок веревки.

— Весь день здесь на лавке пролежал, — вставила служанка статского советника, — городской с врачом приходили.

— Позвольте, как же утром? Я вчера, в седьмом часу со службы возвращаясь, с ним говорил, — сказал Григорий Иванович.

— Да и я вчера с ним виделся, — встрял учитель музыки. — Он еще мне сказал, что... — он посмотрел на стоявшего тут же титулярного советника, осекся и замолчал.

— Знать, Поликарп команду собирает, — вдруг словно бы в задумчивости сказала кухарка Ефросинья и как-то странно и долго посмотрела на титулярного советника и учителя музыки, так что им обоим сделалось не по себе.

Ефросинья славилась дурным языком. Ежели уж скажет какую гадость, так она пренебреженно сбывается, а гадости она говорила постоянно.

— Какую команду? — спросил Григорий Иванович, побледнев.

— Известно какую, — служанка статского советника перекрестилась. — Ежели ви- сельник к кому приходит, значит, берет его к себе в компаньоны, значит, и он скоро.

— Вечером его, ваше благородие, никак нельзя было видеть, — вступил в разговор мужик, устраивавший дворника в гробу. — Потому как Поликарп помер утром. Я сам его из петли своими руками вынимал. Так что никак вечером не мог. Обознались, ва- ше благородие.

— Дурак! Да как же я мог обознаться, — воскликнул вдруг учитель музыки фальце- том, — когда с ним вечером говорил! — он потер пальцами запотевшие стекла очков.

— Никак невозможно говорить было, — стоял на своем мужик. — Перед тем, как это с собой сотворить, Поликарп ко мне завернул. Я в соседнем доме дворником. Тихо сидел — молчал. А перед тем, как уходить, и говорит: «Если спрашивать кто станет от- чего, так и говори, мол, мертвые сами знают, отчего мертвы».

Но этим дело не закончилось. Дворника Поликарпа, хотя и похороненного как са- моубийца на острове Голодай, где в Петербурге хоронили всех самоубийц и казненных преступников, частенько стали видеть бродящим по дворам Галерной улицы, словно он что-то искал и не мог сыскать.

Являлся он как-то ночью и в комнату титулярного советника Григория Ивано- ви- ча. Пришел, молча сел на край кровати, где спал титулярный советник, и сидел не- подвижно. Так просидел всю ночь, а к утру растворился, будто его и не было. Многие видели неугомонного дворника. Кто встречал на улице, к кому в спальню являлся, словно ждал своего часа, который не пришел покуда.

А титулярный советник Григорий Иванович и учитель музыки умерли в один год от тифа, и их тела, дабы не распространять по городу заразу, отвезли на остров Го- лодай, где ранее был похоронен Поликарп. Так что и тут они оказались соседями. На что Ефросинья сказала:

— Видно, забрал Поликарп этих двоих. Неспроста, видно. Потребовались, знать, ему безбожники зачем-то.

Поговаривали, что видели его будто бы даже в одно и то же время в разных местах и в компании с другими покойниками. Так что дворник Поликарп сделался ночной достопримечательностью Петербурга на долгие годы.